



И за Луговского я попал в тюрьму. Пока что единственный раз в моей жизни (от сумы и от тюрьмы не зарекайся!). Вообще-то это была не совсем настоящая тюрьма, а предтюрьма — камера предварительного заключения в пятидесятом отделении милиции — в «полтиннике».

В 1957 году мне позвонил Антокольский, захлебываясь от рыданий: «Володя больше нет...»

«Какого Володи?» — спросил я: почему-то мелькнула страшная мысль о моем ближайшем друге Соколове. Антокольский, не в состоянии выговорить, всхлипывая на другом конце трубки — я физически чувствовал, как его трясет. Наконец вырвалось: «Луговской... В Крыму... Скоро-постижно... Слава Богу, хоть не мучился... Приезжайте в «Прагу», помянем... Позвоните Саше...» Павел Антокольский, которому тогда шел шестидесять первый год, тридцатитрехлетний Александр Межиров, двадцатичетырехлетний Евтушенко — мы были тогда близкими друзьями, несмотря на разницу в годах. Мы дружили не возрастными тусовками, а безвозрастной любовью к поэзии.

Мы знали все слабости Луговского, но прощали их, потому что любовь к поэзии была для него даже выше любви к женщинам, в чем он тоже знал толк, хотя так больше подходит говорить о лошадях, а не о женщинах.

Вскоре мы уже плакали все втроем, роняя слезы в водку и в еще водившуюся тогда в «Праге» сладкую гурьевскую кашу с полумесяцами горячих резаных абрикосов. Водка — не мой напиток, день был жаркий, меня развезло, и, ставшись с друзьями, я побрел по Москве, размазывая слезы по щекам, в результате чего угодили в лапы милиции за якобы гнусное предложение, хотя мне было плохо и просто-напросто хотелось любви и ласки, а она так одиноко сидела у ресторана «София» на сиденье рядом с шофером под запыленной зеленой лампочкой, что было в те годы приглашающим знаком.

Эту женщину я вовсе не хотел обидеть, а лишь спросил ее: «Вы свободны?» — после чего она завизжала, и сразу появилось множество свидетелей, которые даже не слышали моего невинного вопроса.

Незаметно до этого был введен в действие «декабристский» закон, по которому народный суд имел право вклатывать любой срок до 15 дней за мелкое хулиганство без судебного разбирательства. После ночи в «полтиннике» утром меня повезли на милицейском мотоцикле из отделения в нарсуд. Сей дворец правосудия оказался дверь в дверь с редакцией «Нового мира», и — о ужас! — я чуть не столкнулся с заведомо поэзии Софьей Карагановой и, картинно заложив руки за спину, как будто на них были невидимые миру наручники, с гордо поднятой головой почти народолюбца как бы взмолился на плачу. Каменоломный судья, пролистнув показания лжесвидетелей о моем недостойном поведении, даже ни о чем не спросив меня, вписал мне 5 дней исправительных работ. Я попытался возразить, объясняя, что умер мой учитель — поэт Луговской, что мы его поминали с друзьями и поэтому я хватил лишку, но никого не хотел обидеть. Следовательно на фамилию Луговской никак не прореагировал, но спросил: «А ты что, и сам тоже — эрот... поэт?» Я трагически кивнул, бия на сострадание к нам, мученикам совести, но вдруг увидел, как судья, узнав о моей профессии «поэта», сладострастно приписал единичку к цифре «пять».

Вот так я пострадал за Луговского, которого нежно и благодарно любил «с открытыми глазами», а не слепой любовью поклонника.

Луговской родился в 1901 году в Москве, в семье учителя, и сам вступил на учительскую стезю, но на военизированную — согласно тогдашним воям. Окончив Военно-педагогическую академию в 1921 году, три года прослужил в Красной армии, а в 1926 году опубликовал свою книгу «Спологи», искренне воспевавшую революцию. Но все-таки в нем больше чувствовался «попутчик», чем участник.

Корней Чуковский вспоминал, что, прежде чем увидеть Маяковского, по его ранним стихам он представлял его закомплексованным человеком маленького роста, затравленным собственной неуверенностью, боязнь неудачности, недолгожданности. То же самое у меня случилось с Луговским — только наоборот: я ожидал увидеть сильного, уверенного в себе человека, скрипящего новенькими портупеями и крагами, а увидел, что у него душа была хрупкая, мятая, готовая вот-вот развалиться и потонуть, как беззащитный бумажный кораблик.

Луговской принадлежал к трагической категории очень неплохих людей, оказавшихся в очень плохом времени. Попытка притвориться «советским Кипплингом», чувствуя себя в блестящем написанном, но исторически и нравственно сомнительном и, несмотря на это, бесспорно антологическом стихотворении «Басмач», показателна. Это стихотворение уцелело благодаря тому, что все-таки отражало историю, хотя бы и через зрачок идеологического колонизатора.

Так и сейчас происходит в Чечне, когда расстреливаемые террористы, как инопланетяне, совершенно непонятны тем, кто их расстреливает, а им точно так же непонятны те, кому они отрезают головы. Впрочем, такая же инопланетная отчужденность происходит и у многих русских с русскими. А мы столько лет думали, что нас всех объединяет «Союз нерушимый республик свободных».

Издательство «Время» в своей поэтической серии вскоре выпустит избранные стихи Владимира Луговского. Эта книга, где впервые печатаются многие непредставимые при советской цензуре поэмы — лучшие из книги «Середина века», раскрывает тайну того, что внутри известного неоплохого поэта Владимира Луговского жил загнанный внутрь ВЕЛИКИЙ ПОЭТ.

Эта полупроза-полуэссе — вступление в книгу, которую читателям «Новой газеты» советуем не пропустить

● Е. Е.

Евгений ЕВТУШЕНКО

ТАЙНА ДЯДИ ВОЛОДИ



Владимир Луговской

Луговской был искренним певцом этой великой и неоправданно жестокой ко многим своим обитателям страны, которой суждено было стать Атлантидой, канувшей в Лету с непредставимой молниеносностью. Упрекать Луговского и таких же, как он, не рвачей, а трубочей революции в приспособленчестве — это и есть бесстыдное приспособленчество к сегодняшнему беспределу, происходящее от желания оправдать свою беспринципную готовность лечь под потную волосатую тушу нынешней неизвестно какой системы — результата свального зоологического греха дворянских, лагерных овчарок и компьютеров на пустырь истории.

Перечитайте гениальное стихотворение Луговского «Курсантская венгерка» — и у вас горло перехватит от зависти к первозданной чистоте, влюбленности в собственную молодость, не догадывавшейся тогда, как ее растопчут — сначала сталинские палачи, а затем те, кто нагло осмеливался называть себя демократами, а на деле оказались политическими наперсточниками. У меня слезы комом в горле стоят, когда я снова и снова читаю «Курсантскую венгерку», бессмертную не меньше, чем «Гренада» Светлова или «Верка Вольная» Михаила Голынского. Перечитайте «Середину века», а особенно внимательно стихи, в нее официально не вошедшие, но без которых она непредставима. Перед вами предстанут один за другим неизвестные широкому читателю шедевры, чудом уцелевшие от конфискации или идеологического разгрома.

Эта была тайна «дяди Володи», как его влюбленно называли многие верные ученики, и среди них Гудзенко, Луконин, Межиров. Признаюсь, мне их любовь некогда казалась преувеличенной по сравнению с известными мне тогда стихами Луговского, хотя сам он был очаровательным в своем несколько театральном, но безобидном для окружающих позерстве. Пре-

имущество его учеников передо мной заключалось в том, что они и Антокольский были немногими хранителями «тайны дяди Володи» — одними из тех, кому он осмеливался читать свои стихи, за которые ему могло не поздоровиться. Но даже сильно урезанная «Середина века», вышедшая когда-то без лучших стихов, произвела на меня сильное впечатление. Я увидел хотя бы краешек «самозапрещенного» Луговского, ощутил новую поэтику преображенного им пятистопного нерифмованного ямба, восходящего от «Мопарта и Сальери», «Вольных мыслей» Блока, «Обезьяны» Ходасевича...

Первым этому новому качеству русского верлибра у Луговского научился Евгений Рейн, открывший Бродскому «тайну дяди Володи». Хотите выяснить один из главных корней Бродского? Это «Алайский рынок» Луговского, хотя в отличие от крупно одаренного, но жестокого Бродского дядя Володя был мягким и, к счастью для него и других, способным к благодарности человеком. Но то, что для Луговского было временным настроением, для Бродского стало отношением к жизни. Бродский знал эти стихи наизусть и читал их вслух.

**Игнать домой? Не знаю вовсе дома.
Огелюсь грязью башмаки сырые.
Во мне, как балерина, пляшет злора,
Поводит ручкой, кружит пируэты.
Холодными бесстыдными глазами
Смотрю на все, подтягивая пояс.
Эх, сосчитать бы со всеми вами!**

Разница в их характере была в том, что Луговской в своей «тайнописи» был жалостлив, но самобезжалостен, может быть, как никто до него. «Тоскливый, хитрый, пасмурный поэт! Из века в век возился я с тобою, босяк и раб, всегда идущий мимо в ночных туфлях, в копейной пижаме, сосущий недобрыенные ногти». А Бродский был только безжалостен.

Межиров очень точно заметил, что современная молодая поэзия напоминает ему «хорошее исполнение сольной арии Бродского». Таланту им научиться не под силу, а его безжалостности научиться легче. Поэтому армия «бродских» напоминает мне строки Луговского: «Улитки шли холодным скользким строем. Улитки шли, похабно выгибаясь». Какая четкая, исчерпывающая характеристика постмодернизма.

Луговской для меня был первым поэтом, который умер. То есть я, конечно, знал, что до него умирали и другие поэты: редко от старости, чаще — от пули. Но никого из них я лично не знал и встретился только с легендами о них, с их памятниками. А Луговского я знал.

О чем говорили — всего не припомнишь, а вот игру голоса, нисходящего на какие-то глубоководные басы, помню, и какие-то древнегреческие вздымания рук, и фирменные слезы умиления при слушании чужих стихов — помню.

Он был похож на актера, почему-то выбравшего для себя сугубо героические образы, от которых на самом деле у него не было ничего в характере, рыхлом, податливом, как пластилин. В этом было и нечто весьма немужественное — особенно при таком внешне чуть ли не орлином облике, а с другой стороны — пластилин этот не затвердевал, не превращал его в бронзового истукана, которыми набиты

ниши на станции метро «Площадь Революции». А когда эпоха террора лепила из людей палачей и доносчиков, быть незатвердеваемым, то есть не фанатиком, — это была редкая генетическая удача в те страшные времена истребления даже гена мягкости.

Ч то-то в Луговском было от очаровательно-го и смешного Трусливого Льва из «Волшебника Изумрудного города». Но горе тому, кто воспримет это как оскорбление по адресу поэта. Тот, кто стыдится своей нехрабрости, уже не трус. Луговской был похож именно на поэта — особенно в представлении людей, до толе поэтов не встречавших вживе. Рослый, с безукоризненно военной спиной без малейшей сутулости, с рокошущим, как горное эхо, голо-сом, с серебряным водопадом волос, хотя уже и неумолимо редевших, и со знаменитыми бровями. Недаром Луговского и прозвали «бровеносец советской поэзии».

Луговской был автором идеи первого Дня поэзии и в нашей стране, и в мире. Я написал: «Был праздник тот придуман Луговским. Хвала тебе, красавец-бровеносец. Поэзия, на приступ улиц бросаешь, их размывала шквалом колдовским».

Луговской, при жизни с такой щедростью помогавший молодым поэтам, помог мне и после смерти. Когда я написал стихотворение на смерть Пастернака «Ограда», напечатать его с посвящением в 1960 году было невозможно — Пастернака все газеты называли предателем, а на переделькинском кладбище лубянские фотографии, не стеснясь, снимали крупным планом тех, кто пришел попрощаться с поруганным поэтом. Я обратился к вдове Луговского Елене Леонидовне Быковой с просьбой разрешить мне напечатать стихи, явно описывающие портрет Пастернака, с посвящением Луговскому. Она сама была необычайно талантлива: «Мы умирали рядом на кресте. Мы ничего не знали о Христе. Кто выдумать посмел, что он воскрес, не понимает, что такое крест...» Елена Леонидовна печально улыбнулась: «Володя не обидится. Он это поймет...» Все, кто любил поэзию, понимали, кому были посвящены эти стихи, а добрая тень дяди Володи не обиделась.

Вознесенский свое стихотворение о похоронах Пастернака назвал «Похороны Толстого». А уж если забраться в историю подальше, то можно вспомнить одно из самых наирусских стихотворений, под цензурным дамочковым мечом лукаво озаглавленное «Жалобы турка»...

У дивительно, что не могу вспомнить глаз Луговского — даже того, какого цвета они были. Брови их надежно скрывали, и он, как мне кажется, не очень любил смотреть в глаза других людей, потому что они тогда ответно сумели бы заглянуть в его собственные. У меня было такое чувство, что ему за что-то постоянно стыдно и поэтому в глаза он и не смотрит. Это вовсе не обвинение. Это комплимент, ибо все больше и больше вокруг людей, которые не знают этого малопривлекательного, но все-таки очищающего чувства. Луговской принадлежал к той эпохе, когда почти невозможно было выжить честному человеку без того, чтобы хоть за что-то, но не было бы стыдно. Хотя бы за собственное выживание, за то, что зубы века-волкодава не тронули шейных позвонков. Относительно благополучно выживавшие делились только на две категории — на делавших что-то стыдное по собственной инициативе или же «под давлением обстоятельств». О первой категории и говорить нечего — они подписали контракт с дьяволом. Вторая категория «вынужденных стыдников» подразделяется на тех, кто мучается стыдом, и тех, кто подписал пакт о ненападении — правда, не с дьяволом, а со своим собственным стыдом.

«Дядя Володя», как его называли ученики, милый, беспомощно мягкий, лобызавшийся на виду у всех с опальными писателями, что могло быть чревато многими неприятностями, и одновременно не умеющий не подать руки какому-нибудь литературному негодяю, большущий, sentimentalный, боявшийся бомбежек, может быть, потому, что одна из бомб могла бы убить внутри зародыш его лучшей книги «Середина века», где в некоторых главах он почти до конца, а в «Алайском рынке» до конца открыл свое театрально-героическое забрало из магнитофорской стали рыцаря пятилеток в индустриальных погромыживающих латах.

Но прежде чем издевательски судить о романтиках революции, попробуйте себя вообразить в их шкуре, то бишь в тех латах в то страшное время. Те, кто не был героем, но все-таки не был и подлецом, оправданы перед лицом истории. Про Луговского принято говорить, что он струсил во время Великой Отечественной войны, уехал в Ташкент. Но именно там он написал свои тайные шедевры.

Дело не в географическом местонахождении наших тел, а в местонахождении наших душ. Спасибо этому слабохарактерному, но замечательному в преодолении своих слабостей поэту, который поверил искренне романтического хлама оставил нам свою спасенную им «тайну» — несколько великих художественных документов-шедевров, которые должны читать все, кто хочет понять нашу страну, уникальную в чудовищности своей истории и величии ее несчастных художников.